

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное



Николай Николаевич Златовратский

Горе старого Кабана

«Спустя несколько лет после рассказанной мною истории с Чахрой-барином пришлось мне поселиться в Больших Прорехах надолго: я задумал построить на земле своей племянницы хутор. На все время, пока заготавливали материал для стройки, пока строилась сама изба, я должен был поселиться у кого-либо из прорехинских крестьян...»

Содержание

***	.0005
I.	.0008
II.	.0019
III.	.0028
IV.	.0048

**Николай Николаевич
Златовратский
Горе старого Кабана[1]**

*...Он не год сидел, не два года.
Отпустил свою бородушку
До самого шелкова пояса;
Он по светлице похаживает,
Табаку трубку раскуривает.
Он поет песни, как лес шумит:
«Уж талан ли, мой талан худой,
Или участь моя горькая!..»*

Народная песня

Спустя несколько лет после рассказанной мною истории с Чахрой-барином пришлось мне поселиться в Больших Прорехах надолго: я задумал построить на земле своей племянницы хутор. На все время, пока заготавливали материал для стройки, пока строилась сама изба, я должен был поселиться у кого-либо из прорехинских крестьян. С бывшим моим арендатором дела у меня расстроились (он мне иногда, как будто не нарочно, забывал даже кланяться, а если иногда и кланялся, то снимая нехотя картуз и не кивая головой); знакомые старики мои почти все примерли; умер, как вы знаете, Чахра-барин с

«огорчение», умер и Ареф, давно уже замерший заживо (говорят, «он и не слышал, как умер», да и никто не слышал, только уж сутки спустя хватились окликать его, а он лежит на печи и голосу не подает: «моща, так моща и есть»); умер и высокий старик кузнец с ребячьей головой и детским лицом «скоропостижно», после драки с сыном; умер и Самара, умевший ловко таскать у внука из бутылки водку, а после добавлять водой, но Самара, по крайней мере, оставил после себя приятеля. Кабана, до такой степени схожего с собой, что как будто он вовсе и не умирал для прорехинского мира. Когда и жив был Самара, так их с Кабаном почти что не различали.

Вот у этого-то «старого Кабана» и привела мне судьба поселиться. Поселился я у него прежде всего потому, что изба у него была если не больше всех других, зато двухэтажная, в три окна, с порошным верхом, и притом самая красивая во всем селе. Очевидно, строилась она напоказ и «в свое удовольствие». Крыша железная с вычурными водостоками; двор крыт тесом и крашен, вместе со всею избой, в темно-коричневый цвет; окна узорча-

тые. Через улицу, против окон, стояла житница, тоже узорчатая, с крашенными в тот же цвет бревенчатыми стенами, с ярко блестящею зеленою железною дверью, вся новая и крепкая. Житница эта резко выделялась от своих дряхлых соседок, а в особенности от одной из них, переделанной в жилую избу, с двумя крохотными оконцами. То была изба Степаши, дочери покойного Чахры-барина. Я очень был рад этому соседству. Мне хотелось узнать поближе, как живет Степаша.

Впрочем, позвольте мне сначала поближе познакомить вас с Кабаном.

Кабан был мужик среднего роста, плотный, мускулистый, приземистый, так что его большая голова как будто несколько была вдвинута в плечи. Сивая круглая борода и довольно тщательно расчесанная, с пробором посередине, серебристая голова придавали ему очень благообразный вид, тем больше что одевался он чисто: кувшинные сапоги были всегда вымазаны, ситцевые рубахи и порты только что выстираны (от них всегда несло даже серым мылом). Но все это «благообразие» как будто было не его, не родное, а взятое напрокат, парадное. Наблюдали вы ребенка, когда наденут на него «обновку» и он еще не успел с ней освоиться? Таким же, постоянно смущенно улыбающимся, осторожно поскрипывающим сапогами, конфузливо выступающим и думающим, что все на него смотрят, был Кабан. «Не замарай рубашку, не запyli сапоги, не включивай голову!.. Ходи ровнее, не бегай, будь пайнька... Теперь ты уж большой!» — говорят ребенку, — и ребенок, не чувствуя в глубине души, чтоб он дей-

ствительно сразу стал «большой», силится послушанием уверить себя и других, что папаша и мамаша не ошибаются. Если это забавно выходит в ребенке, то, понятно, еще забавнее у старика в 60 лет. А Кабан был именно таков. Войдет, бывало, ко мне наверх, слегка поскрипывая сапогами, пригладит голову, сядет напротив меня, сложит на животе руки и смотрит прямо в лицо как будто чуть-чуть, не постоянно смеющимися серыми глазами.

Так и хочется его спросить: «Что, Листарх Петрович, загнали, брат, тебя в чистые хоромы да в новые сапоги? Неловко, должно, тебе?»

Да и к своей красивой новой избе, ко всему своему хозяйству он относился как-то чрезвычайно странно, как будто все это было не его, не родное, не хозяин он тут, а только дворецкий.

— Видишь, какая у нас усадьба-то теперь... А ведь прежде-то у меня здесь что было? Хибарка, Миколаич, малая хибарка, колышками подперта, ветерком продута, в три слепых оконца, в соломенной шапке... Да, — говорил он мне, когда, на третий день по приезде мо-

ем, показывал он мне свою усадьбу, — и что случилось, что случилось-то, ты погляди!.. Ах, господи! До сих пор в ум не приду, ей-богу, не приду!.. Словно, братец, меня ушибло... Гляжу-гляжу на эти хоромы-то — и ума не приложу: ровно как будто сплю я все, грежу... Ей-богу!.. Бывало, братец, работаешь до десятого поту, спина трещит, ноги ноют, ломит, живот ведет, ты бы поесть, ан одна тюря[2]; того пуще брюхо-то пучит... Беднота была, голь... Ах, братец, шибко тяжело было!.. И что случилось, что случилось! — причмокивал Кабан, покачивая головой. — Ну, чего мне теперь нужно? Все есть... Захотелось спать — ложись, хочешь на печку, хочешь на перину... В кладовой вон их две лежат по двадцати пяти рубликов штука стоила!.. Да подушек там же полдюжины пуховых хранятся... Ну?.. Есть захотел? Вот тебе сладкий кус, какой хочешь... Гороху, што ли? — и горох будет... Судака соленого закусить? — и судак будет... Разгуляться захочешь? — вот они, два коня стоят... Бери жеребца и поезжай, куда душа тянет... Да никуда, братец, не тянет, вот беда-то! Я уж и хотеть-то не знаю чего придумать! Ей-богу!

Иной раз, признаться тебе сказать, тоскую...
шибко тоскую... Никогда этого со мной
прежде не бывало!

— Да ведь ты и теперь работаешь, Листарх
Петрович; с чего же тебе тосковать?

— Работаешь!.. Разве это работа? Так, ба-
ловство... Бивало вот, работал, точно, как тю-
рю-то ел... Летом-то преешь-преешь, да и зи-
мой-то, и в стужу, и во вьюгу, за одром своим
треплешься... Мы в извоз[3] тогда хаживали...
А теперь... — и тут Кабан сокрушенно махал
рукой, — больше ничего, как одно балов-
ство... Хотел было, братец, раньше-то еще, от
тоски, по-прежнему, туда-сюда сунуться: зем-
ли хотел взять побольше, в извоз было соби-
рался... Ну, не допустили!

— Кто ж тебя не допустил?

— А все господа-то мои: сынок с невест-
кой... «Да ты, — говорят, — тятенька, сделай
милость уж, нас не ерами... Пожалуйста, не
срами... Чего тебе недостает? Что ты бога-то
будешь гневить? Он нас, милосердый, взыс-
кал, а ты недовольством своим его огорчать
будешь? Ты одно знай — честь нашу держи...
Смой с, себя черную-то образину!.. А уж ежели

тебе тоскливо, ну лавочку открой, так, для веселья, и грош лишний перепадет»... Ну, я этим ремеслом николи не занимался... Так вот и остался, что боров откормленный, — жир только нагуливать.

— Где же у тебя сын с невесткой?

— Да в Москве живут.

— Что же они там делают?

— А брюхо растят... В артельщиках у меня сын-то... Слышь, по три тысячи за год-то себе в карман очищает!.. Вот какая махина!.. Ну куда экую прорву денешь, коли ежели не в брюхо?.. Робятишки хошь бы, что ли, были, все же знал бы, что когда-нибудь в дело пойдут... И того нет: не родит толстая... Да где ей родить! Ожирела!

Последние слова Кабан произнес даже с сердцем.

— Вот, видишь, хоромы какие вывели!.. А к чему? Хошь бы внучата, что ли, были... Ну вот, и смотрю за домами-то! Хожу из угла в угол... Мужики говорят: «Житье тебе, Кабан!..» Завидуют... А мне другой раз хоть в петлю лезть! Ей-богу! Еще летом побалуешься, туда-сюда, как-нибудь: поборонуешь с бабами,

покосишь с мужиками сообща... Вес как будто настоящий крестьянин... Забудешься другой раз, будто и взаправду работаешь... А зимой... что! Места не найдешь... Думал по осени телегу строить... давай тесать да пилить... А мужики смеются: «Ты бы, — говорят, — Кабан, лучше вот из колодца в колодец воду переливал... Скорей вопреешь!» И точно-взял бросил... Кому польза? — заключил он. — Так я думаю: сопьюсь я. Еще пока господь не допускает, а думается: враг одолеет... Вот оно што значит мужику шальные-то деньги: грех! один грех!.. Грабить оно при деньгах-то хорошо, точно...

И действительно, я стал замечать, что Кабан попивает. Не то чтоб он пил запоем или «кутил» — нет, а так вот — ходит-ходит, словно обваренный, да рюмку-другую и выпьет. К вечеру придет ко мне, а у него уж сквозь седую бороду на щеках румянец играет, с усов улыбка не слетает, а серые глаза не то смеются, не то плачут. И вот в эти-то минуты он бывал особенно похож на покойного Самару. Так же, как тот, облокотится он, прямо насупротив вас, на стол, склонит голову на ладонь

и, не спуская с вас глаз, затащит заунывную-заунывную песню. У вас сердце щемит, а у него из-под усов блаженная улыбка не сходит.

А однажды он, совершенно неожиданно, поразил меня. Ходили мы с ним как-то по полям. Просил я его показать мне порядок общинного хозяйства — разные «гоны»[4], «жеребья»[5], «пай», «барышки» и т. п. Ему, видимо, очень нравилось, что я интересуюсь этим вопросом, и он с особенным удовольствием, даже с увлечением, отвечал мне такими подробностями относительно каждого жеребья, что вся деревенская жизнь встала передо мной как на ладони.

— Вот, вот жеребьёк-то... Это Миронов... Вишь ты, овес-то какой высыпал... гущина! (Мы ходили по яровому полю.) Конечно, что говорить! Сильная семья. Скотины одной крупной семь голов... А это вот, вишь, Степашкин жеребьёк.

— Плох.

— Плох, плох, брат... И говорить нечего — плох!.. А ведь труда-то она сколько кладет! Да, у нашей земли безданно-беспошлинно ниче-

го не возьмешь... А у Степашки всего и скотины-то телка, да пара овец, да сивая кобыла. А ей бы, за ейные труды, золотую бы гречу-то надо! Вот что! Кабы по справедливости... Вот вишь, гляди — это вот мои жеребья-то... Вот такая гречиха-то нежится, господь с ней!.. А что наш-то труд? Так, баловство... Кому польза? Кого эта гречиха порадует? Зависть только народу... Отпишу я сыну: «Уродил, мол, нам господь гречиху ровно жемчуг, такую, что на год хватит, да еще и про запас останется». А он тебе, с женой-то, тишком да с улыбочкой: «А нам, тятенька, скажут, хошь бы чертополох у тебя уродился, так все единственно. Потому одна это только твоя потеха... А к нашему имуществу какая ни то пятерка приращения не сделает! Так, думаем, пустое это дело». И верно, и верно! — протянул Кабан и, неожиданно всхлипнув, отвернулся в сторону, высморкался. Я взглянул на старика, но он уже по-прежнему смотрел на меня, улыбаясь; только на щеках под глазами появились у него мокрые дорожки, да на бороде блестели две-три мелких слезинки.

Кабан сконфузился.

— Что с тобой, Аристарх Петрович? — спросил я.

— Дурак, одно слово — стал дурак голый... Пустопорожный человек, — ответил он серьезно, помолчав и смотря от меня в сторону, куда-то в далекое пространство полей. — Толку не видно из мужика стало, — продолжал он, — что уж хорошего!

Мы шли, спотыкаясь о земляные комья пашни, по заросшей розовою и белою кашкой и полевою рябиной меже. Кабан, заложив руки за спину и смотря вниз, говорил отрывисто. Я его не прерывал.

— В другой раз мужики говорят: «Хошь бы ты, Листарха, грабил, что ли, все бы за тобой настоящее дело имелось... Право, ну! Землей бы, что ли, маклачил, торговлей. Так бы уж тебя и понимали... А то чего ты только себе и другим глаза мозолишь?» И верно, и ве-рно, братец! Книгу бы, что ли, какую божественную читать, и на то у меня ума нету: не учен! Богу молиться — и то об чем не придумаю, не знаю, чего просить (чего у нас нет!), не знаю, в чем каяться. Придумал было я тут одно дельце... Вдова у нас была тут с сынишкой;

хотел было я его к себе во внучата приусыновить. Ну, воспретили мои-то господа, говорят: «Ты умрешь, а мы опосля того с ними раздѣлывайся!» Придумаешь что ни то, а они воспрещают: «Это, — говорят, — у тебя, тятенька, ум от бездѣлья играет... Чего тебе не хватает, чего тебе недостает? Живи да бога не гневи». И точно, думаешь, за что же я, в самом деле, бога-то буду гневить?

Каким-то странным, невероятным диссонансом звучали для меня эти речи Кабана — для меня, в русской деревне, где кругом кипел только безустанный труд или беспокойная жажда наживы... Впрочем, я должен оговориться: не подумайте, что «бездѣлье» Кабана было наше «барское» бездѣлье. Далеко нет. Это было бездѣлье только относительное, особое деревенское бездѣлье, «мужицкое». Если бы вы посмотрели на Кабана со стороны, он ничем не выделялся бы для вас из общей трудовой массы. Хозяйство шло у него своим порядком: две здоровые бабы-родственницы, одна уж пожилая, другая — косая девка, убирались около дома со скотиной, сам Кабан, наравне с другими мужиками, вставал до свету,

пахал и бороновал, сеял и косил, возил снопы и молотил. Он делал решительно все и так же старательно, как всякий мужик, так же галдел на сходах и всею душой участвовал в мирских делах и дележах. И между тем тоскует о том, что он лишний деревенский человек, что он потерял смысл жизни. Страшное это слово — потерял смысл жизни! Вот жил человек, трудился, прожил полвека в этих безустанных трудах и заботах о первых необходимых потребностях жизни, и вдруг, в благодарность за все это, ему отравили жизнь, у него отняли первоначальный смысл его жизни и взамен не дали ничего.

В начале, пока погода стояла хорошая, мне приходилось почти целыми днями бывать на хуторе, а иногда и ночевать вместе с рабочими в шалаше. Поэтому бывал я в Больших Прорехах только урывками, на ночь, и только в праздники оставался на целый день. Тут-то я и беседовал преимущественно с одним Кабаном. Однажды, накануне праздника, я только что вернулся, отпустив плотников, и велел приготовить самовар. Самовар внес ко мне сам Кабан, по обыкновению, «благообразный», чистый, вымытый, — и теперь от него несло уже не только серым мылом, но и целою баней.

— Вот и я присяду, — сказал он со своею неизменною тоскующею улыбкой в усах, осторожно внося, вслед за самоваром, стакан специально уже для себя. — Не прогонишь?.. А то скажи, коли мешаю — я и уйду... Мне ведь что!.. Ведь от безделья я... Коли кто ничего не делает — и я кстати тут, а коли дело у кого есть — меня гони, гони прямо...

— Садись, садись... Я очень рад, — пригла-

шал я. И мы повели неторопливую беседу о работах у меня на хуторе, о моих планах.

Так разговаривали мы, выпивая стакан за стаканом. В открытые настежь окна плыли на нас тихие, полупрозрачные сумерки, все пронизанные какими-то отрывочными, как будто откуда-то издалека долетавшими звуками засыпавшей деревенской улицы. Где-то далеко, забравшись в конопляники, беспокойно блеют две овцы. Жеребенок тяжело простучал копытами по улице и, высоко подняв голову, насторожив уши и сверкая большими красивыми глазами, пронесся на другой конец. Перекликнулись ребяташки. Вдруг, как будто из-под земли, слышались частые, прерывистые, глухие удары — вот они все ближе и ближе. Громко фыркнула лошадь. Кабан быстро обернулся лицом к окну.

— Во-о! во-о!.. Гляди! — закричал он, сияя ребячески всею своею «благообразною» физиономией: его серые глазки блестели и смеялись, серебристые усы и борода образовали вокруг рта какое-то лучезарное слияние; вся его коренастая фигура как-то нервически задвигалась, заходила рубаха на плечах и спи-

не. — Во-о!.. во-о!.. Ах, драть ее на шест!.. Гляди! — кричал он, махая руками и притопывая, как будто собирался выскочить в окно. — Го-го-го!.. фю! фю!.. Ха-ха-ха!.. Го-го-го! — наконец засвистел, заорал, загоготал Кабан, переверсившись в окно, вслед пронесшемуся мимо нас табуну, собранному в «ночное».

Выходка Кабана была так неожиданна, что я, долго изумленно смотря на него, решительно не знал, чем объяснить это внезапное возбуждение: обыкновенно флегматичный, вялый, «вареный» Кабан был неузнаваем. Он еще долго смотрел, высунувшись всею широкою спиной, в окно и продолжал то посвистывать, то горячо толковать с остановившимися посередине улицы мужиками.

Наконец, с покрасневшимся лицом и возбужденно бегавшими глазами, он обернулся ко мне.

— Видел? — спросил он, кивая головой на улицу.

— Кого?

— Ну, Степашу... «Девкой с душой» у нас ее прозывают.

— Разве это она?

— Она самая!.. Она как есть! — ответил Кабан. — Видел, какие у нас девки-то есть?.. Только ноне уж они на редкость. Так, извели их... Совсем, брат, эту породу изводят, — грустно прибавил он, откусывая небольшой кусочек сахара и задумчиво хлебая из блюдечка чай.

Событие, так неожиданно взволновавшее Кабана и так изумительно преобразившее его, состояло в том, что во главе промчавшегося мимо нас в ночное табуна, сопровождаемого ребятишками-всадниками, проскакала на сивой, с большим отвисшим животом и коротким хвостом кобыле Степаша, известная всему соседнему крестьянскому миру под именем «девки с душой». Повязанная синим платком в виде «шлыка», с торчавшими на затылке длинными концами, с грязными толстыми икрами, колотившимися и подпрыгивавшими, как упругие мячи, на лошадином животе, с высоко поднятыми голыми локтями, — «девка с душой» могла пленить только такого деревенского старожилы, каков был Кабан.

Но может быть, вы не знаете, что такое

«девка с душой»? Это своеобразный, уже архаический деревенский тип; это «монстр и раритет» современной деревни... Но его можно все же нередко наблюдать и теперь. Если вы перед пасхой (когда пасха поздняя) или на Фоминой неделе (если пасха ранняя) попадете на деревенский сход, когда идет обычное «распределение» земли и «свалка и навалка душ» перед началом полевых работ, вы увидите очень часто такую сцену.

На завальнях Старостиной избы сидят «старики» домохозяева, воротилы деревенского мира. Перед ними собирается кучка баб, обыкновенно вдов, ребят, сирот и бобылей. Все это ждет своей части мирской земли, если такой много у мира, или же спешит «свалить с себя» надел, если такого у мира мало, а подати тяжелы и велики. Среди этой кучки вы заметите и будущую «девку с душой». Это — обыкновенная крестьянская девка, здоровая, мужиковатая, грубая, некрасивая. После смерти матери осталась она одна при старике отце. С десяти лет она уже тянула с отцом тягло, как и настоящий мужик. И лето, и зима были сплошным, бесконечным временем труда;

этого труда было так много, что девке некогда было уже задуматься о «друге сердца» и она не успела завоевать себе мужа. Да и деревенские джентльмены больше склонялись считать ее скорее за товарища, чем за «друга сердца»; они уже слишком запанибратски хлопали ее по спине, так как вполне были уверены, что она им ответит тем же.

Теперь она стоит пред сходом, сложа руки под фартуком, подвязанным выше груди, и равнодушно ожидает «решенья стариков».

— Ну, что, Паранька, — спрашивают ее старики, — как будешь без отца жить?

— Жив бог — жива душа моя! — кричит Паранька, не моргнув глазом.

— Бог-то жив, да ты душу-то осилишь ли?

— А чего не осилить!

— И хозяйство вполне поведешь?

— А чего не повести!

— И повинности оправишь?

— А чего не оправить!

— И подати подымеешь?

— Да чем я супротив вас не вышла? Али что бороды длинные, так вам и честь?

— Ловко, ловко! — подхватывают весело

зрители.

— Ну, ну, ладно... Посмотрим, — говорят старики. — Справляйся!.. Не тебе с сумой ходить... Видим, что девка — казак... Ну, так быть тебе «девкой с душой» не в пример прочим! — шутит молодой староста и наотмашь надевает ей на самые глаза свою шляпу-гречневик.

— Не дури, — отмахивается Параня, хотя шляпы не снимает.

— А ты поклонись да спасибо скажи миру, — советует один из стариков.

— Ну, ин благодарим покорно, мир честной! — улыбаясь, кланяется Паранька, и долго еще виднеется на ее девичьей голове, вместо брачного венца, новая Старостина шляпа.

Степаша почему-то невзлюбила город и, как мы знаем, вернулась в село, потребовала от братьев «свои права» и превратилась именно в такую «девку с душой».

Кабан усиленно и молча допил стакан и, повернув его на блюдец, сказал, приглаживая волосы:

— Благодарствую!.. А какова «девка-то с душой» у нас? а?.. Люблю... Люблю я, брат, та-

ких, ей-богу!.. На месте не усажу!.. Эх, братец мой, зародится же такое дитяtko... Вот ты и гляди, божье-то произволение: вышла баба-мужик!

— Что же, как она теперь поживает?

— Плохо, брат... Так тебе сказать, трудно ей... Трудно ей теперь, — с искренним соболезованием отвечал Кабан, и лицо его приняло какое-то особенно жалостливое выражение.

— Отчего же так?

— Ноне, брат, и мужику трудно, не то что бабе... Да!.. Это вот ежели дуром на тебя налезет благодать-то, что на меня, так оно легко, что говорить! Балуйся!.. Нагуливай жир-то!

Кабан сердито заворчал было, но, тотчас же поднявшись, как будто вспомнив свою роль, обдернул розовую ситцевую рубаху, передвинул на животе голубой пояс, пригладил обеими руками мокрые волосы и, улыбаясь, взглянул мне в лицо.

— Пойдем завтра к ней на праздник, — пригласил он меня.

— С удовольствием. Я уже давно собирался, да все недосут было.

— Пойдем, пойдем... Я тебе покажу се... Посмотришь!

Кабан был рад, как ребенок, что я согласился идти с ним к «девке с душой».

Наутро мы были с Кабаном у обедни. Еще когда только что начал звонить жидкий, пронзительный колокол погоста, ко мне заглянул Кабан и сказал:

— Пойдем богу молиться вместе!

Шли мы с ним тихо, нога за ногу. Хотя было только семь часов утра, но солнце жгло сильно. Небо стояло туманно-синее. Ветер не дунет. Солнечные лучи Таб-ярки, что резали глаза. Несмотря, однако ж, на жару, мой Кабан был разодет в полную «парадную» мужицкую одежду и чувствовал в ней себя, по-видимому, не особенно ловко: суконный светло-синий кафтан был у него до того еще новый, что, казалось, только что сейчас взят в московском Гостином дворе; густо накрахмаленная подкладка у него шумела и топорщилась; высокий ворот колом подпирал шею и бороду Кабана. На шею он ухитрился еще повязать толстый полушелковый цветной платок, отчего лицо у него налилось кровью. На голове был также совсем почти новый картуз, «московский».

— Недавно, должно быть, закупил обновки-то? — спросил я.

— Купил?.. У меня и денег-то нет... Это — все мои... Все они обо мне промышляют... Прислали вот, пишут: «Посылаем тебе, тятенька, костюм московский и заказываем накрепко, чтобы его надевал в церковь, по праздникам... И чтобы, пожалуйста, в клеть не прятать, а стараться сделать нам удовольствие...» Ну, пущай... Вот и хожу, ровно журавль! Вот и сапоги... Вишь, какие подковы!.. Хошь в пляс пускайся на старости лет...

Листарх Петрович заворотил полу, поднял ногу и, показывая мне новый сапог, сам еще раз полюбовался высокими каблуками с подковками и покачал головой.

— Ах ты, господи!.. До чего я дожил! — вздохнул он, бережно поправляя полы и рукава кафтана и корявыми пальцами стараясь снять оседавшую на них тонкую паутину.

— Чудак ты, Листарх Петрович, — засмеялся я.

— Не говори! — махнул он рукой. — Сам вижу... Ничего не поделаешь! Приказ такой вышел... Надо молодых потешить...

Из церкви мы вышли к «девке с душой» не улицей, а «задами», по пробитой между банями и поросшей репейником тропке. Перешагнув совсем высохший, грязноватый ручеек в овражке, мы вошли в «огород», состоявший счетом из трех гряд с капустой. За грядами был соломенный навес над двором на двух, трех столбах, между которыми сделан плетень.

— Вишь ты, братец, как у нее все беднеет, — проговорил Кабан, покачивая сокрушенно головой, — да!.. Худо, совсем худо... Вишь ты, как облысела крыша-то: солома-то вся прогнила, слезла...

— А чего ты ей не помогаешь?

— Помогаю... Даю когда соломы, семян... Тоже мне, брат, воспрещают... Надо мной тоже надсмотрщики есть... Бабы у нас такие ехидные — беда!.. Приедут мои-то левизоры, оне им в точную обо мне и донесут... Да... А левизоры-то говорят: «Ты, тятенька, жир-то нагуливай, господь с тобой, мы тебя этим не утесняем, ну только имущество наше расхищать мы позволить не можем...» Вот они как поговаривают!.. Ну-ка, заворачивай во дворец

к Милитрисе-красавице!.. Ха-ха-ха! Красавица!

Кабан снял еще на улице картуз, вероятно боясь помять его торчащую тулью о низкую крышу сеней, и, полуотворив дверь, крикнул в глубь избы:

— Эй, Степаха!.. Сваты идут... Принимай гостей!.. Городские гости!.. Баре-то бывали ли у тебя когда ни то?

Но на этот возглас никто не отвечал. Мы вошли. По-видимому, наш приход не произвел никакого впечатления на обитателей амбарушки.

— Что же ты молчишь? Приглашай барина-то, — сказал Кабан сидевшей у стола Степаше с большою деревянною ложкой в руках, которою она мерно и медленно хлебала что-то из чашки.

— Милости просим... У нас вход без запрету. Садитесь, коли любо, — сказала Степаша грубоватым голосом, искоса равнодушно взглянув на нас; она продолжала мерно есть, после каждой ложки тщательно вытирая пригоршней толстые губы.

Мы присели на лавке из узкой сучковатой

тесины у стены, сбоку от окон, ближе к простой, сосновой, уже почерневшей божнице в переднем углу. Две иконы «темного письма» стояли на ней, затканые густой паутиной, — и только. С боков божницы, прищипленные булавками, висели два клочка обоев с розовыми цветами (бедные крестьяне употребляют иногда, вместо картин, куски обоев, которые даром добывают у горожан). Тут же висит Еруслан Лазаревич на белом коне. Оказалось, что он приобретен ошибкой, вместо Георгия Победоносца, поражающего змия. Если прибавить к этому промасленный небольшой стол и висевшую по задней стене рухлядь, — вот и вся обстановка избы.

Кроме меня, Кабана и Степаши, в избе были еще два человека. У задней стены, в углу, сидел маленький, плюгавый мужичок, неопределенных лет, но не старик; лицо у него было тоже маленькое, белое, красноватое, нос — луковицей, глаза бесцветные, желтовато-серые волосы были вдоволь намочены квасом и прилизаны; борода белая, маленькая, кудрявая, образовавшая вокруг рта подобие гнезда; рубаха на нем — изгребная, синяя,

из-за ворота которой смотрела выжженная, перегорелая, с потрескавшеюся кожей шея; на шее, по-праздничному, был повязан грязный лоскуток, на ногах — синие же порты и лапти. Руки у него были сухие, изможденные, так что рукава рубашки висели на них, как на палках; впрочем, в них не замечалось болезненной дряблости; это были именно палки, — казалось, без нервов, без мускулов, без крови: твердые, жесткие, прочные, которые и нож не возьмет.

Мужичок этот не шевельнулся ни одним членом, когда мы вошли. Он молча жевал черный хлеб с луком, широко открывая рот и показывая замечательно белые, здоровые зубы, чавкал, собирал с подола в рот крошки и смотрел на нас равнодушно во все глаза. Рядом с ним сидел кот и, лениво щурясь, наблюдал, как он ел.

Долго я внимательно глядел на этого мужичка. Что-то в нем было такое невероятно странное, загадочное, что как-то невольно обращало к нему внимание. Чувствовалось, что у этого мужичка или когда-то было в жизни что-то незаурядное, страшное, или же это

непременно с ним когда-нибудь случится. Нередко приходится встречать такие фигуры, лица с таким выражением, что вас охватывает тяжелое предчувствие чего-то тяжкого, что непременно должно случиться с ним... вот не сегодня — завтра... Или вы, год-два спустя случайно попав на следствие о «мертвом теле», вдруг признаете в этом «теле» знакомое вам лицо, или среди группы арестантов в суде вас поразит знакомое, тупо равнодушное и жалкое выражение того же лица, и непременно все это при чрезвычайных обстоятельствах, при тяжелой обстановке. Не знаю, то ли же впечатление производил этот мужик и на крестьян; по крайней мере, Кабан и Степаша смотрели на него так же, как и на всех других; но моим воображением он овладел сразу, и так, что долго после того его образ вдруг, совершенно неожиданно, вставал в моем воспоминании с замечательно полной реальностью.

Прямо против нас, у дверей, была печка; кто на ней сидел, не было видно из-за трубы, только одни ноги свесились вниз, ноги старческие, обнаженные до костистых угловатых

колен; синие подтеки покрывали сплошь дряблые, мешковатые икры; ступни были совершенно грязные; зеленые, растрескавшиеся и глубоко вросшие в пальцы ногти выдавались всего резче.

— Ну, вот, вот... смотри! — говорил мне сияющим лицом Кабан. — Вот она, девка-то с душой у нас! Настоящий обалдуй! Так ли, а?

И он любовно подмигивал мне на Степашу. Степаша продолжала есть какую-то странную смесь из кваса, лука и сухарей; при словах Кабана она несколько сконфузилась и полусердито заметила:

— Чего на меня смотришь-то?.. Какие узоры нашел?

Затем она тщательно вытерла последний раз всю пригоршней губы, поправила торчавший треугольником на лбу черный, с желтыми горошинами, платок и начала истово креститься. Все ее движения были неторопливы, обстоятельны, размеренны. Казалось, ничто в жизни не могло бы заставить ее изменить порядок того, что она делала, ничто не могло ускорить или замедлить ее грубовато-неторопливых движений. Степаша значи-

тельно постарела. Лицо ее и вся фигура отличились уже в те постоянные, устойчивые формы, которые почти не изменяются в течение десятков лет. Румянца на щеках не было и следа, а вместо него легли на лицо грубоватые холодные тени; прежняя девическая полнота заменилась тугою, жесткою, угловатою мускулистостью, и даже прежние, характерные, сердитые карие глаза как-то потухли, глядели степеннее, строже. Но в то же время она как будто одичала еще больше.

Крупным увесистым шагом, с серьезным, сосредоточенным выражением на лице, заходила Степаша из избы в сени, из сеней во двор, из двора опять в избу, то с водой, то с лоханкой, то с отрубями. Под ее могучими голыми ступнями как-то оживилась, заплясала и заходила вся избушка: трещали и стонали подгнившие половицы, вслед за ними подпрыгивали, визжа, лавки, покачивался из стороны в сторону стол, дребезжали треснувшие стекла в окнах и жалобно ныли жидкие доски сенного помоста.

— Вот пошла, вот заходила! — подпрыгивал Кабан и весь сиял восторгом, как будто и

его душу захватили в свой странный концерт эти разнообразные звуки. Веселыми глазами всюду провожал он фигуру Степаши. Я в недоумении посматривал на Кабана и думал: что такое могло приводить его в восторг от этой обычной, трудовой процедуры? Что за странную, таинственную симпатию чувствовал он к Степаше!

— А ты бы ее в поле посмотрел! — говорил он мне. — Я бы тебе ее показал тогда... Что я али вот этот мужичонка, — мотнул он бородой в сторону все еще жевавшего мужичка, — плюнуть, одно слово... Какая наша работа? Так, через пень колоду тянем... Галок считаем... Мы в работу не смотрим: к какому она нам ляду!.. Вот он получил деньги — и прощай! Полетел на другое место! Батрак, так батрак и есть... Продажная душа! Ему что колос, что волос из его работы выйдет — все одна цепя!

Мужичок продолжал жевать, по-видимому, по-прежнему равнодушно, и только при словах «продажная душа» вскинул на нас глазами и на минуту перестал жевать.

— Кто он такой? — спросил я Кабана.

— Мужичонка-то? А вот по найму у ней по летам работает... Не здешний, из дальних... Вот уже третье лето у ней батрачит... Сорок рубликов она ему за лето-то отваливает да кормежка... А какой его труд? Продажный... Только норовит от работы отлынять...

— Ты откуда? — спросил я белобрысого мужичка. Мужичок опять приостановился жевать.

— Из белой Арапии он... Ха-ха! Белая рубаха! — отвечал за него Кабан. — Беляк, ты откуда? — окрик-пул он мужичка.

Мужичок повернулся на месте, переставил ноги и, помолчав, сказал:

— Зарайский.

— Ну вот, рязанец, — пояснил мне Кабан.

— Семья-то есть ли? — спросил я опять Беляка.

— Холост, не женат.

Мужичок чуть заметно улыбнулся.

— Давно ли ходишь по людям?

— Сызмалетства... из веков, — протянул мужичок, доев последнюю корку, и вдруг как-то сразу весь заволновался, вышел на середину избы, наотмашь помолился на образа и за-

говорил, махая сухими руками, заговорил часто, задыхаясь, прерывая и не договаривая слова. — Сызмалетства... Во!.. Гляди! руки-то — плети!.. Пристанишша не видал... во! тридцать годов... на чужих кормах... Своего угла не знавал... на своей печке не погрелся... во, ноги-то! Пол-Расеи отмерил. Во-о, живот-то, гляди: пустой мешок!.. Сызмалетства... Хошь бы часок... хошь бы часок...

— Ах ты... дуй тебя в хвост!.. Да кто тебя гнал шататься-то? — полусердито, полудобродушно закричал на него Кабан. — Кто? Чего при своем месте не сидится, чего от своей деревни отбился? Шатущий! Чего в одиночку-то бродишь, от артели отстал, от земляков?

Мужичок вдруг смолк и опять сел на прежнее место, так же равнодушно смотря на нас во все глаза, как и прежде. По-видимому, он плохо слышал, о чем ему говорил Кабан, он, кажется, увлекся воспоминанием о своей житейской колотьбе и продолжал про себя высчитывать — где, как и когда он проживал.

Но Кабан не унимался.

— Где земля-то? Чего землю бросил? Не любишь? Шататься лучше!.. Эх ты, продажная

твоя душа!.. Ты вот смотри, вот девка, а она к своему делу как привержена! Бегает она али нет? — показывал Кабан на вошедшую Степашу.

Степаша приостановилась и стала слушать.

— А по зимам где живешь? — спросил я мужичка.

— В городе, — отвечал он, уже по-прежнему нехотя.

— В городе, — передразнил его сердито Кабан, — в городе! Леший вас тянет туда — к городу-то! Ты бы вот честь честью себе пристанище облюбовал, хозяйку бы взял, к земле бы к своей прилежал, ребятишек бы произросстил... Ты бы тогда к своей-то земле не так прилежал, — ты бы в ее, что вон Степаша, кровь свою излил... А ты теперь ей, за деньги-то, как яровину-то спахал? а? Поди-ка, глянь... Ей бы, за ейные-то труды, золотую гречу-то надо, а не токмо что...

— Разве за деньги от нее что возьмешь?.. От нее, матушки, за деньги не возьмешь, — заметила серьезно Степаша, стоя все еще к нам вполоборота, — на деньги хорошего тру-

да не купишь...

— Верно! — подтвердил Кабан. — Ты ей как яровину-то спахал? — опять накиннулся он на мужика-рязанца. — Продался, вот и спорины в твоём труде нет... И для бога он не угоден. А ведь она тебе сорок рублей в лето-то отваливает!.. Ведь сорок-то рублей для нее что значит? а?

Я уже давно заметил, что ноги, свесившиеся с печки, понемногу стали двигаться. Сначала две костлявые, худые руки, с крючковатыми и почти не разгибающимися пальцами, силились все стыдливо натянуть на голые колени старый сарафанишко, потом ноги обернулись пальцами к печи и долго старались попасть, вместо ступенек, в отверстия горнушек[6], где обыкновенно сушатся онучи[7], и, наконец, кое-как сползла уже с печи старуха.

— Сорок рублей, болезный, сорок рублей! — затянула старуха, едва ее ноги коснулись пола. — Как едина деньга!.. Где девке взять?.. Здравствуйте! — обратилась уже к нам маленькая, худая старушка с воспаленными и гноившимися веками, в повойнике на голове, из-под которого выбивались сухие,

серые и хрупкие, как сено, волосы.

Она села на лавке у самой двери, рядом с мужичком-рязанцем, держась корявыми руками за острый край доски.

— Не хотела было раньше вылезать-то из-за печки, — продолжала она, — думаю, что им во мне, старухе!.. Да не утерпела... Вот ты справедливую речь заговорил, Листарха Петрович, больно мне по нраву пришлась. Сорок рублей, болезный, сорок рублей, вот по три лета выплачиваем... А где нам взять, где девке взять? Я вот уж плоха...

— Плоха, старуха, плоха! — добродушно подтвердил Кабан.

— Куда плоха, и слепа, и глуха, и, признаться, глупа стала. Ну, еще когда я была годна, все ничего... А теперь девке хоть в гроб ложиться... Недоимки пошли уж неоплатные... Мужики ноне на миру стали необходимые: страшат — землю отобрать к семьяным... Что бабам делать? Как девке быть?

— Трудно, трудно...

— И я про то же... По нынешнему времени все мужик; только при мужике и вздохнешь... Вон бабы-то при мужьях как живут: сладким

куском питаются, со своею судьбой одни не
маются... Муж-то при доме денег не берет, сам
несет... Он не за плату землицу-то свою оха-
живает, вот у него и спорина... И баба-то за
ним вздох имеет!.. Ты гляди, вот избенка-то,
вся в дырках: где бы взять починить, где бы
заплатку наставить, где бы крышу подобрать,
а все заплати... все мужика-то найми, коли
мужа нет!.. А он тебе за плату-то еще нагадит,
заместо дела... Вот хоть бы Филашка (мотнула
она головой в сторону мужичка), и смирен, и
богобоязлив, непьющий, старательный, ка-
жись (третье лето знаемся), а вот не дает гос-
подь спорины ему в работе... Кто же ведает
отчего!.. Ровно у него из рук-то валится!.. А со-
рок рублей ему подай, где хошь возьми, а по-
дай!.. А будь свой-то мужик, он еще тебе при-
несет и в работу-то сердцем войдет и лаской
приголубит... Свой-то мужик не купленный,
свой-то мужик ноне дешевле, только прими-
луй да приласкай его... А ласка-то не куплена,
на хлеб не выменяна! Ласка-то бабья деше-
ва...

— Вишь ты, старуха, как поговариваешь!..
Ну, одно жалко — рано тебя бог состарил, а то

бы еще ты на своем веку почудила, надо думать, — захохотал Кабан.

— Надо по жизни говорить, Листарха Петрович, по жизни смотреть... Жизнь-то по-своему не перекроишь!..

— Так, так... Слышишь, Степаха, что старуха-то говорит? — подмигнул Кабан Степаше, теперь стоявшей в проходе между перегородкой и печкой, сложив под фартуком руки, и серьезно-вдумчиво слушавшей разговор.

На вопрос Кабана она не отвечала.

— А? Степаха! — переспросил Кабан. — Так как быть-то? Слышь, что старуха-то говорит?

— Неуж не слышу?.. Коли говорит, должно, так надо... Ни с чего говорить не будешь, — ответила наконец Степаха и опять замолкла, но замолкла так, как будто дожидалась, когда же мы уйдем.

«Ну, что еще будете говорить?» — спрашивали ее сердито-задумчивые глаза.

— А ты вот что, старуха, — заговорил Кабан. — Вместо чтобы на старости лет такие речи говорить да девку смущать, ты бы вот чулок-то развязала да деньжонок племяннице-то дала избу-то поправить... Как вы зи-

мой-то жить будете? а? Чего ты капитал-то бережешь? Али с собой в могилу возьмешь?.. Ведь не возьмешь!.. Рано ли, поздно, все ей пойдет... Ах ты, скряга, скряга старая!.. Беспутные речи говоришь, а дела хорошего не делаешь... Что, испугалась? Ха-ха-ха! — засмеялся Кабан своей шутке.

По-видимому, он так и говорил в шутку. Но старуха вся так и затрепетала.

— Уймись, уймись! — крикнула она сердито на старика. — Али ум потерял, грех забыл?.. Али тебе легко чужую душу загубить пустым словом? Из-за этих слов что греха-то бывает?

— Ну, ну, старуха... Пошутил и то!.. Да ведь болтают все, ну и я сболтнул.

— Ты бы то знал: молва-то на человека — что чума... Мне уж, болезный, и так жить надоело... А другую душу на грех навести не трудно!

Мы поднялись и вылезли из-за стола. Вдруг мужичок-рязанец, или Беляк, как его звал Листарх, опять как-то заволновался. Глазки у него забегали; руками он то поправлял рубаху, то хватался за голову, за бороду,

как будто наш уход представлял для него чрезвычайно важное событие, как будто он не успел от нас чего-то добиться, о чем-то спросить, на что-то получить окончательный и решительный ответ.

— Хошь бы часок... Хошь бы часок... Хоть бы часок пустил на своей-то печке понежить-ся, — вдруг сказал он, весь просияв какою-то странною, загадочною улыбкой, обращаясь к Кабану, когда тот только что сгорбил спину перед низенькою дверью. — Брюхо бы поправить, — продолжал он тянуть, — хошь бы часок... в свои-то хоромы полежать пустил.

И он опять улыбнулся; в улыбке было все — и стыд, и ирония, и злоба, и какое-то полунамеренное, полубессознательное юродство. Беляк наконец засмеялся тихим, дребезжащим смехом дурачка.

Кабан давно уже выпрямился и, широко открыв глаза, прямо в упор смотрел на Филашку. Он что-то беззвучно шевелил губами; по его шее и лицу постепенно разливалась кровь.

— По-оди! По-оди! Попробуй! — вдруг крикнул Кабан так неистово, что стекла жалобно

затрещали в окнах избушки, а я вздрогнул.

Мужичок-рязанец смутился и боязливо опустил глаза.

Кабан продолжал беззвучно опять шевелить губами, тщетно стараясь что-то сказать. Но он больше ничего не мог произнести, медленно повернулся и вылез в маленькую дверцу в сени, тяжело ступая по гнувшимся доскам помоста.

Мы все время, пока шли к своей избе, молчали. Кабан пыхтел, обливался потом и вытирал в волнении лицо красным, с голубыми цветами, платком. С лица понемногу сходила у него кровь, но шея долго оставалась багровою, а глаза смущенно-сердито блуждали. Праздник был испорчен. Кабан во весь день был неразговорчив и всего раза два заходил ко мне «по делам» на одну минуту.

IV

Прошел год, когда мне удалось вновь заехать в Большие Прорехи. В это лето я запоздал в столице и попал на свой хутор только уже позднею осенью, когда все работы почти были кончены. Тотчас же по приезде я немедленно должен был, по делам, отправиться в волость и здесь неожиданно сделался свидетелем чрезвычайных событий в жизни моих старых знакомых.

Старшина, между прочим, передал мне, что у них нынче суд, что судится Степаша со своим мужем. Можете себе представить мое изумление! Я сейчас же, конечно, пошел на суд.

В первой комнате толкались два-три мужика и сторож, в следующей было присутствие. За большим столом, заваленным книгами и бумагами, сидели писарь и два судьи. У дверей толкалась «публика» — она и свидетели, среди нее же толпились и истцы, и обвиняемые. Писарь был молодой, меланхолический семинарист, уродливый и неповоротливый, флегматично относившийся к своей обя-

занности, как «к наказанию», и потому, может быть, не умевший брать взятки; он постоянно был чем-то недоволен, «всеми недоволен» — и старшиной, и судьями, и собой, и мужиками; постоянно жаловался, что мужики пьют много; что поэтому порядка с ними не устроишь, но сам от угощения никогда не отказывался и чем больше пил, тем угрюмее и молчаливее становился.

Из судей один был Листарх Петрович Кабан (не менее изумившая меня случайность). Он стоял, отшатнувшись спиной к стене, сердитый и задумчивый, и смотрел вниз. Когда я вошел и присел в угол у двери, он вскинул глазами, улыбнулся мне, мотнув бородой, и опять опустил глаза. Другой судья — мужик сухой, высокий, с жидкою черною бородой и большим горбатым носом — сидел, облокотившись обеими руками на стол, и сурово вел, по-видимому, все дело. Писарь писал, но, увидав меня, задвигался неповоротливо, вылез из-за стола, зацепив карманом пиджака за стол, проворчал что-то в неизменно мрачном настроении, подошел ко мне, подал руку и тем же путем вернулся опять за стол.

— Ну, старуха, рассказывай, что ли! — окрикнул густым басом суровый чернобородый старик, по-видимому недовольный перерывом дела.

Я взглянул на толпившуюся кучку у дверей. Все лица знакомые, всех их встречал я в Больших Прорехах. Впереди стояла Степаша, заложив руки под короткие полы синего казакина[8], узко обтягивавшего ее коренастые формы, с талией чуть не на спине. На голове у нее был тот же черный, с желтыми горошинами, платок. Рядом с ней, вытянувшись, как рекрут, с руками «по швам», высоко подняв голову и упорно, не мигая, смотря на судей, стоял Беяк в крашенинном зипуне[9]. Старуха — тетка Отепаша — сидела на краешке скамейки, постоянно порываясь встать. Сзади толпились прорехинцы мужского и женского пола.

На вопрос чернобородого судьи старуха, опять силясь приподняться, сердито заворчала:

— Чего тебе рассказывать, когда на всю волость шум и то идет? Вот вся деревня знает... Алистарх Петрович здесь — у него в глазах

было. Спроси деревню-то, какое ей беспокойство было... Ни тебе день, ни тебе ночь спокою... Пошел чертить, пошел чертить — дальше да больше. Вот тебе радетель, вот тебе смиренник, вот тебе хозяйству помога!.. Ах, батюшки мои светы! За девкой-то с топором, с вилами гонялся, за косы таскал... Меня было в одночасье загубить хотел... «Я, — говорит, — тебя (так тебя) снизведу! Ты, — говорит (так тебя), — чего деньги-то прячешь? Али я вам задаром работать достался? Будет, — кричит, — и мне вздоху пора дать... Я вот теперь заставлю на себя поработать!» Батюшки мои светы!.. Всю-то зимушку, все-то летечко глаз не сомкнула... И не чаяли такого беспокойства! Али мы какие, али мы сякие?.. Жили в мире, тишине...

— Ты говори, чего ж вам нужно, чего хотите? — обрывал суровый судья.

— Чего хотите? Вот и смотри, чего хотим, — сердито отвечала со своей стороны старуха, — на то ты и судья... Суди!.. Вот деревня-то, спрашивай...

— Что уж тут говорить — беспокойство полное! — загалдела в один голос толпа му-

жиков и баб. — Мужичонка совсем негодный!.. Бесперечь по кабакам!.. Беспокойство было — не приведи господи!.. Мы свидетельствуем... Дело видимое... — И т. д.

— Ну, чего ж ты хочешь, чего ищешь? Надо нам знать-то али нет?! — закричал судья на Степашу.

— Пропишите ему на высылку... Чтобы беспокойства не было, — сказала Степаша, — я его в избу не пущу, он беспокоит...

— Ведь он тебе муж?

— К какому он мне ляду!.. Кабы он робил... А он не робит... Я лучше батрака буду наймать... С чего терпеть? Кабы он робил... Пропишите ему на высылку, чтобы беспокойства этого не было... Кабы он робил, а так я мужнею женой быть не согласна.

— А ты что скажешь? — обратился все тот же судья к Беляку. — Ты чего ищешь?

Беляк чуть дрогнул и только еще больше вытянулся.

— Обиду ищу, — проговорил он отрывисто и в полном сознании своего права. — Пропишите бабам меня при моем хозяйстве водворить... Я хочу моему хозяйству порядок

иметь...

— Э, э, э! — раздались мужские и женские голоса прорехинцев. — Ах ты... Водворить!.. А? Да ты, пустая твоя башка... Да мы тебя приютили... А? Да ты голоштаный пришел... Откуда? Да мы тебя в общество приняли... Тебя к хозяйству пристроили... А? Да тебя, подлеца, мало что на выселку... А? Хотя бы ты мужик-то наш был... А то... Прописывай, прописывай ему на выселку!

Под влиянием ли этого неожиданного дружного натиска голосов или по какому-то таинственному душевному побуждению вдруг Беляк повалился в ноги перед столом.

— Братцы, простите! — завопил он каким-то пронзительным голосом. — Православные... православные, простите!.. Будьте милостивы... Сызмалетства... из веков... Сызмалетства пристанища не видал...

Он быстро встал и, всхлипывая, волнуясь, рыдая, подошел к столу.

— Во, гляди, руки-то — плети! — заговорил он, тыкая руками в воздух и трепля на них рукава казакина. — Во... тридцать годов!.. Каждый год лихоманка треплет... Извелся... Трид-

цать годов своего угла не имел... На чужих кормах... Вздоху нет... сызмалетства... Во, живот-то, гляди, во! — кричал он, нервно расстегивая полы зипуна и поднимая рубаху...

— Аи, аи, аи! — кричала толпа. — Что делает! А?.. Ловок!.. Это он (так его) к нам на хлебы пришел... Отъедаться! За бабьей спиной брюхо растить захотел!.. Благодарим! Отчего не позволить! За это он еще лбом-то пол портет!.. Лоб-то здоров!.. За этим он не постоит! Прописывай, прописывай ему, судьи, у бабы на печи лежать!.. Ха-ха!.. Прописывай ему позволение... Пуцдай мужичок поправляется да жир нагуливает! А баб ему в крепостные определим!.. Барщину ему уставим... Авось поправится!..

Все эти возгласы слились в один сплошной, дикий гул, прерываемый странным, прерывистым, каким-то жестоким ироническим смехом, какими-то злыми вздохами и соболезнованиями.

— Стойте, молчите... Будет! Не хорошо! — строго крикнул Кабан на толпу.

Он был, видимо, взволнован.

— Пиши, Иван Елизарыч, — сказал он пи-

сарю, — пиши, чтоб прорехинское обчество приговор дало... на высылку! — проговорил он с усилием и вытер лицо платком.

Но едва он сказал это, как Беляк захохотал тоненьким смехом. Лицо его мгновенно приняло глуповато нахальное выражение.

— Что?.. что пиши?.. Успеешь, — заговорил он, насмешливо ворочая языком, — успеешь написать... Погоди... чтобы переписывать не пришлось. Эх вы!.. Водки хотите?.. Думаете, у меня нет?.. На, вот сейчас — ведро... Мало? Два найду... Оболью! Вот, вот бери зипун... На!.. Тащи в кабак, тащи в залог! — причал он, порывисто стаскивая с себя кафтан и бросая его на стол. — Бери!.. Пейте, иуды-передатели!.. Пей!.. Не жалко!.. Эх вы... иуды-передатели!.. Не знаю я вас, что ли?.. На, на, берите, берите и меня в заклад, коли мало... Душу мою заложите, иуды-передатели! Ду-ушу-у! На-те!

Беляк рванул на груди рубашку, заревел и захохотал в одно и то же время. По его маленькому покрасневшемуся белому лицу потоком лились слезы.

— На вот тебе, брюхан, на... продажную ду-

шу! На, заложи на вино! — закричал он на Кабана, продолжая рвать рубаху.

Толпа зароптала, по ней глухо пробежал гул. Кабан поднялся с тем же ужасным лицом, какое я некогда видел у него в избе у Степаши. Так же сначала побагровела шея, так же беззвучно, силясь сказать что-то, он шевелил губами.

— Оставь, Листарха!.. Сядь, погоди! — сказал чернобородый судья, беспокойно взглянув на Кабана. — Пошли вон, пошли все вон! — крикнул он прорехинцам. — Сотский, возьми мужика отсюда!

Кабан тяжело сел. Толпа отпрянула за дверь. Высокий мужик-сотский, с заспанным лицом, подошел к Беляку и хотел его взять за руку. Беляк дернул локтем и продолжал стоять, по-прежнему выпучив глаза на судей.

— Пошел вон, говорю! — закричал судья. — Веди его!.. А ты, Иван Елизарыч, пиши...

— Постой, погоди... Не пиши, — сказал Беляк, как будто что-то соображая, тихим, ровным голосом. — Не пиши... Сам уйду!.. Уйду опять от вас... Сам... Места будет для всех у бога!.. Уйду сам...

Он взял со стола свой кафтан и неторопливо надел его.

— А ты теперь вот что пиши, — обратился он резонно к писарю, показывая пальцем на бумагу, — пиши: «Взыскать с жены крестьянина Филата Беляка в пользу мужа ее законного за летнюю работу сорок рублей сполна»... Пиши... Пуцдай мне сорок рублей отдадут... По чести... Я справедлив... Я больше не хочу... Оне мне за батрачину искони сорок рублей платили... А ноне, по мужнему положению, ничего я не получал... С чего ж баловаться?.. Я свое прошу... Я по чести, без обману.

Но против этого неожиданного предложения запротестовала старуха и начала высчитывать, сколько «он вымотал от них угрозой» денег на водку.

— Ты что скажешь? — спросил судья Степашу.

— Чего сказать? Сорок рублей платили — это по чести... Пуцдай, кабы он ноне робил... Он прежде робил, а на мужнем положении, за его лень, не следует...

— Все одно. Рассчитайся, Степаха, ниши! —

выговорил наконец Кабан сердито, почти приказывая. — Денег нет — я дам. После вернешь...

— По чести... Я справедлив... Я больше не возьму, — повторил Беляк. — Судите по справедливости... А уйти — я уйду, коли не по нраву вам... Для нас у бога место найдется!

Через полчаса мы ехали с Листархом Петровичем Кабаном ко мне на хутор. Масса неожиданных впечатлений, которая охватила меня на суде, не давала мне успокоиться. Я просто не мог прийти в себя. Мне необходимо было уяснить, осветить для себя все это странное стечение обстоятельств. Я несколько раз разговаривал об этом с Кабаном, но он смотрел грустно в сторону от меня и то отмалчивался, то что-то ворчал сквозь зубы. Наконец сказал:

— Ты, Миколаич, ежели хочешь со мной приятельствовать, об этом мне не поминай.

Потом помолчал и прибавил:

— Ведь я сам Беляка-то и усватал... Думал, что, мол... Все прахом пошло!.. Все уж у меня как-то прахом идет, все... Не то уж!..

И Кабан заутрюмел совсем.

Прошло больше недели, как Беляк исчез из Больших Прорех. О нем, по-видимому, все уже забыли. Кабан хотя и сделался как-то задумчивее, грустнее, но, кажется, начинал по-немногу приходить в себя и успокаиваться, только к Степаше все еще не ходил, не любил смотреть в сторону ее избы, куда, бывало, постоянно были обращены его взоры. Сердился ли он на нее или малейшим напоминанием боялся вызвать в своей душе пережитые впечатления...

Однажды, глухим осенним вечером, сидел у него в избе и пил с ним чай. На улице гудел ветер и хлестал дождевыми струями в окна. На дворе зги не было видно: темно, хоть глаз выколи. Кое-где мелькали тускло огоньки в избах. Жутко в это время в деревнях. Чувствуешь какую-то беспомощность перед этим морем мрака, из-за которого ниоткуда не блеснет вам светлого просвета; чувствуешь, как эта тьма охватывает вас, душит, наполняет голову странными, причудливыми образами, томит вашу душу неопределенными, тяжелыми предчувствиями. В этом мраке исчезает для вас мир божий, вы видите себя отре-

занным, отчужденным от всех... В деревнях в это время редко кто выйдет на улицу; на задворки редкий мужик рискнет сходить. Деревня живет в эту пору, может быть, более, чем когда-нибудь, на веру, на божью волю, стихийно, бессильная против каких-либо случайностей.

За окнами, откуда-то издали, глухо слышался чей-то голос; вот он все ближе и ближе. Слышатся какие-то выкрики. Мы вслушиваемся внимательно, но ничего разобрать нельзя. Вот слышно хлястанье сапог по лужам и грязи, и смолкло; кто-то остановился.

Гляжу, Кабан нахмурился и сурово смотрел в стол, не поднимая глаз.

Вдруг кто-то завыл дико, безобразно, рыдая и плача, сначала тихо, затем все сильнее и сильнее.

— Иуда!.. Иу-уда!.. Иу-уда! — раздирающе тянул голос, который мне показался похожим на голос Беляка. — Иу-уда!.. Отдай мою душу-у!.. Отд-а-ай!.. Иу-уда!.. Иу-уда!

Кричавший как будто на несколько минут ослабевал, затихал, но затем начиналось опять это убийственно-гнетущее повторение

одних и тех же раздирающих звуков.

— Господи!.. Батюшки мои! — иногда болезненно выкрикивал голос и затем опять: — Иуда! Иу-да-а!.. Иу-да-а! — глухо неслось из мрака.

Старик, не взглянув на меня, вдруг поднялся и неторопливо вышел в сени. Он что-то искал там. Затем послышалось, как он медленно и тяжело стал спускаться с лестницы. Я подождал минуту — и мне вдруг мелькнула ужасная мысль: «Не сделал бы он чего-нибудь». Я схватил свечу и выбежал в сени. Внизу, навстречу мне, поднимался Кабан. Он был бледен и дрожащей рукой едва держался за перила, в другой руке он держал железный безмен. Страшное, зверское было выражение его лица.

— Что ты хочешь? — спросил я.

Старик не выдержал и вдруг зарыдал, опустившись на ступени лестницы. Тяжелый безмен упал и тяжело скатился вниз. В это время на улице проскрипел воз, потом слышались чьи-то голоса, которые кого-то ругали и искали. Слышалось опять хлястанье грязи. Завыванья прекратились. Прислушиваясь, я все

еще стоял со свечой на помосте сеней.

Старик медленно поднялся и, шатаясь, стал спускаться от меня вниз по лестнице. За ним внизу хлопнула дверь: он ушел в «стряпную».

Наутро я расспрашивал мужиков. Говорили всякую несообразицу, но выяснилось, впрочем, одно, что Беляк все еще бродил по соседним кабакам в округе, что его многие встречали ободренным, пьяным, избитым, и не раз он уже подобным образом был под окнами Кабана. Действительно, слышать эти звуки каждую ночь было ужасно.

Я опять уехал из Больших Прорех надолго. По возвращении моем весной на хутор, я уже не застал в живых Кабана. Мне рассказали, что еще два раза приходил на село Беляк и так же был перед избой Кабана, что старик не выдержал — и запил. Пить он стал страшно, так что через месяц умер. Да и о Беляке больше уже не слыхали.

Степаша — все та же «девка с душой», и брачный венец не оставил на ней никакого следа. Старуха ее все еще жива, только земли им дают вдвое меньше, а убирать ее помогает

за пятнадцать рублен семьяный мужичок из соседней деревни, с лошадыю. Лошадь свою Степаша должна была продать.

«А где же несчастный Беляк? — часто спрашивал я себя, так как образ этого мужичка-рязанца долго еще неотступно носился в моем воображении. — Неужели для него много еще у бога места?..»

Примечания

Впервые — в журнале «Отечественные записки». 1880. № 8, под заглавием «Кабан. Рассказ моего знакомого». Переиздавался в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. Т. 2.

[^^^]

2

Тюря, тюра, тюрка — самая простая еда: хлеб или сухари, корки, покрошенные в воде с солью.

[^^^]

Извоз — перевозка лошадьми (иногда волами) грузов и пассажиров, в России одна из натуральных повинностей крестьян, один из промыслов.

[^^^]

Гон — часть поля, пашни, которую обрабатывают в один прием, без отдыха; участок пахотной земли отдельного крестьянина.

[^^^]

Жеребья — участок, доля, пай земли, доставшийся крестьянину в надел по жеребьевке.

[^^^]

6

Горнушка — ямка на левой стороне шестка русской печи для сгребания в нее углей.

[^^^]

Онуча — обмотка для ноги под сапог или лапоть; портянка.

[^^^]

Казакин — мужская верхняя одежда, застегивающийся на крючки полукафтан со стоячим воротником и со сборами сзади.

[^^^]

Зипун — верхняя крестьянская одежда, обычно из самодельного сукна.

[^^^]